

# Рынок ритуальных услуг: опыт этнографии сенситивного поля<sup>1</sup>

Этнографическое наблюдение, как метод, широко распространено в исследованиях похоронной индустрии. Однако исследователи практически не упоминают и не рассматривают возникающие полевые сложности, связанные, в том числе, и с действиями самого этнографа. Как правило, возникающие трудности проговаривания темы смерти и глубокая сенситивность поля объясняются «табуированием смерти» и культурным «страхом смерти». Этические проблемы, что встают перед этнографом, многие исследователи и вовсе предпочитают избегать. В рамках данного рефлексивного эссе предпринимается попытка

осмыслить опыт подобной полевой работы. Описываются некоторые сложности этнографии ритуального рынка и возникающие этические и методологические противоречия.

**Ключевые слова:** этнография; рынок ритуальных услуг; коллективная этнография; этика полевого исследования.

**Сергей Мохов**

Аспирант школы социальных наук НИУ-ВШЭ (г. Москва)  
главный редактор журнала о death studies  
«Археология русской смерти»  
svmohov.hse@gmail.com

## Вместо введения

Идея этой статьи родилась во время моего последнего визита в Санкт-Петербург и посещения десятой, юбилейной конференции ВДНХ, проходившей в Европейском Университете. Одна из секций конференции была посвящена сенситивным полям и проблемам этнографической работы. Буквально за день до этого в ЦНСИ (Центр независимых социологических исследований) состоялось другое не менее значимое мероприятие, созвучное с первым — небольшая дискуссия об опыте и возможностях коллективной этнографии.

Как делать этнографию? Как поле меняет исследователей и как мы меняем поле? Где границы нашего допустимого вмешательства? Какое место для нас занимает этика? Можно сказать, что подобные вопросы постоянно возникают перед любым рефлексивным исследователем, активно работающим с неоднородным эмпирическим материалом<sup>2</sup>. Этнография требует от исследователя постоянного диалога с собой и самоограничения<sup>3</sup>.

Однако самое важное, что подтолкнуло меня к написанию этого текста — это вопрос этнографии сенситивных полей. Как мы можем писать и говорить о таких сложных и насыщенных темах как, секс, старение или смерть? Где границы этики, открытого наблюдения, согласия информантов (особенно если они мертвы) применительно к подобным полям?

Возникшая дискуссия с коллегами и полярность озвученных мнений интересным образом легли на мой личный опыт и непростую рефлекссию собственного поля, над которым я работаю чуть меньше года. Дело в том, что я провожу исследование рынка ритуальных услуг одного из регионов России методом длительного включенного наблюдения. Я участвую в повседневной работе обычной ритуальной компании. Каждодневные ситуации — это конфликты в моргах с медицинским персоналом и на кладбищах с местной администрацией; наблюдение огромного количества незаконных практик; консультирование родственников погибших; выезды на места смерти; транспортировка тел и даже участие в производстве гробов.

Каждый раз, когда я возвращаюсь из поля, мои коллеги очень живо интересуются — ну как там у меня обстоят дела? Их главные вопросы — как мне удастся работать в таком сложном и неоднозначном поле? Где границы моей личной эмпатии? Как происходило мое вхождение в поле? Как строятся мои от-

ношения с информантами? Как мне удастся или не удастся соблюдать требования этики?

Несмотря на то, что этнография, как метод, широко распространена в исследованиях похоронных домов, довольно малое количество исследователей акцентирует внимание на возникающих полевых сложностях непосредственно с позиции личностных проблем этнографа. Как правило, возникающие трудности проговаривания темы смерти и глубокая сенситивность поля объясняются «табуированием смерти» и культурным «страхом смерти» (Walter 2013). Не говоря уж о тех этических проблемах, что встают перед этнографом, которые многие исследователи и вовсе предпочитают избегать.

В рамках данного рефлексивного эссе я попытаюсь осмыслить опыт собственной полевой работы. Я постараюсь описать некоторые сложности этнографии ритуального рынка и показать возникающие этические и методологические противоречия.

## Контекст

С зимы 2015-2016 года я веду включенное наблюдение в одной из российских ритуальных компаний. Это небольшое агентство даже по местным локальным меркам. Оно проводит не более 50 похорон в месяц<sup>4</sup>, но при этом активно предлагает другие услуги. Например, это установка памятников и надгробных сооружений, уход за захоронениями, изготовление и продажа ритуальной атрибутики, таких как траурная одежда и деревянные кресты, а так же собственное производство гробов. Агентство занимается даже сдачей старых могильных оград на переработку вторсырья.

Главная причина невысокого «производственного» показателя, то есть количества проводимых похорон, заключается в том, что компания принципиально не пользуется нелегальной



Главный офис компании

<sup>1</sup> Исследование проведено на средства Фонда поддержки социальных исследований "Хамовники" (проект 2016 008).

<sup>2</sup> Ответить на эти вопросы пытаются многие исследователи, однако, сама постановка вопроса и метод этнографии открыты к постоянной новой рефлексии исследователя. См: (Hammersley, Atkinson 1983); (Agar 1986).

<sup>3</sup> По мнению Ольги Бойцовой, этнографический метод сам по себе не этичен и полон противоречий (Антропологический форум 2005: 132).

<sup>4</sup> Большим ритуальным агентством считается компания, проводящая 100-120 похорон в месяц.

покупкой/ продажей информации об умерших людях. Компания так же не дает взятки в моргах, на кладбищах и т.д., в отличие от большинства других ритуальных агентств<sup>5</sup>. В случае изучаемой фирмы — все клиенты приходят по личной рекомендации. Из-за подобной специфики, компания постоянно находится в состоянии конфликта с конкурентами и ключевыми инфраструктурами игроками — моргами и кладбищами.

Несмотря на свои скромные масштабы, агентство проводит активную экспансию на рынок и поэтому ежедневно решает огромное количество возникающих проблем — от получения земли под строительство новых похоронных домов и процесса согласования строительства крематория до открытых конфликтов с работниками моргов и кладбищ. В этом контексте, наблюдаемая деятельность агентства это в буквальном смысле слова подарок для исследователя — именно в конфликте и постоянном столкновении интересов проявляются различные акторы, стратегии коммуникации и т.д.

Изучаемая ритуальная компания ведет свою работу на территории нескольких центральных регионов России, имеет в своем штате более десяти служащих, несколько крупных офисов и т.д.

У агентства интересная история. Это первая в данном регионе частная ритуальная компания. У истоков ее основания стоит дед семейства, который будучи отличным плотником и по совместительству учителем труда, делал для односельчан в 1970-ые годы гробы и кресты. Уже в 1980-ые годы, вместе с двумя сыновьями, он открыл лесопилку под производство гробов. Чуть позже лесопилка превратилась в кооператив, который в 1990-ые стал частным похоронным домом, крупнейшим в регионе.

Ситуация изменилась в начале 2000-ых годов, когда было отменено лицензирование ритуальных компаний и рынок массово заполнили небольшие частные организации. Бывшие работники компании ушли в свободное плавание и создали несколько собственных агентств, которые сейчас являются прямыми конкурентами компании. Собственно, именно эти компании и стали пользоваться покупкой информации об умерших людях. Как я и упоминал выше, основатель изучаемого похоронного дома не считает для себя возможным подобные методы ведения бизнеса. По его собственному объяснению — он боевой офицер, ветеран спецслужб и поэтому никогда не опустится до подобных схем. Это похоже на правду, потому что долгое время обороты капитала компании серьезно снижались. На данный момент, изучаемое ритуальное агентство развивает внук семейства, а помогает ему в бизнесе его отец. У компании есть сторонний инвестор, который вкладывает деньги в развитие.

В рамках моей полевой работы меня интересует влияние инфраструктурных факторов на социальные интеракции<sup>6</sup>. Я пытаюсь понять, как ритуальные агентства взаимодействуют с похоронной инфраструктурой и как эта инфраструктура, в свою очередь, способна по-разному собирать социальные взаимоотношения и даже ритуальные практики.

Область попадающих в рассмотрение ситуаций ограничена проблемой исследования — они должны преследовать выполнение главной функции — захоронение умершего человека. Поэтому участниками рассматриваемых и наблюдаемых ситуаций становятся самые разные люди, зачастую довольно ситуативно попадающие в них. Это покупатели, конкурирующие ритуальные агентства, представители исполнительной власти, местные органы самоуправления, отдельные не институционализированные акторы, такие как медсестры моргов, врачи и т.д.

Специфика исследования такова, что я изначально веду работу в поле, которые многими сторонними экспертами и наблюдателями представляется как криминальное и неформальное (Абелев, Рожков, Зульфугарзаде 2006; Грачев 2011; Моисеева 2009). Действительно, подавляющее большинство ритуальных компаний осуществляют свою финансовую деятельность, избегая официальной отчетности, уплаты налогов и т.д.

Рынок представлен огромным количеством разрозненных игроков и мелких компаний. Многие из небольших похоронных компаний официально даже не зарегистрированы. Например, в одном из случаев санитарка местного государственного морга занимается еще и собственным ритуальным агентством, не имея даже юридического лица. Поэтому многие привычные методики и принятые для этнографов правила работы в поле для меня здесь попросту не доступны. На них я остановлюсь позже, а пока расскажу о самом входе в поле.

### Вход в поле

Владелец ритуального агентства является одним из моих ключевых информантов. Познакомились мы с ним в интернете, на почве обсуждения издания журнала о death studies «Археология русской смерти» ([deathanddying.ru](http://deathanddying.ru)), где я являюсь редактором, а он активно участвует в издании.

Поэтому доступ в поле для меня проходил довольно открыто и комфортно — я не внедрялся тайно в само агентство и не тратил время на налаживание определенных первичных связей. В том плане мне повезло гораздо больше, чем другим исследователям и первопроходцам данной темы в России (Моисеева 2013). Единственное что потребовалось — это быстрое установление доверительных отношений на начальном этапе знакомства, которому, однако, благоприятствовало отсутствие разницы в возрасте и наличие схожих интересов.

Нужно сказать, что другие работники этого ритуального бюро знают меня скорее, как журналиста и уже потом как социолога из Москвы. Установление доверительных отношений с ними происходило гораздо сложнее и нужно признать, что не сразу. В первое время они избегали обсуждения при мне своих бытовых проблем и вопросов, переживая, что это все может быть записано и выложено где-то в открытый доступ.

Я старался максимально неформально проводить с ними время. Я выбрал максимально открытую модель поведения — я никогда не настаивал на ответах, старался сам как можно больше шутить и рассказывать личных историй. В лексике я часто переходил на обильное использование ненормативных выражений, что близко для них по языку общения. В этом плане, само начало интервью никогда не имело никаких формальных границ — мы просто спонтанно переходили к обсуждению того или иного аспекта работы ритуального рынка<sup>7</sup>.

Нужно отметить, что в среде работников похоронной сферы практически у каждого есть свои прозвища и клички — Бегемот, Корова, Бульдожка и т.д. Когда и мне была дана кличка (причем не обидная), я понял, что я смог стать для них своим человеком. Мне дали кличку «Малыш», однажды подслушав мой телефонный разговор, где я обращался подобным образом к собеседнику.

Однако подобное вхождение в поле было легким только на этапе знакомства с ритуальной компанией. Коммуникация с другими акторами привела к множеству этических и методологических противоречий. На некоторых из них я и остановлюсь ниже.

<sup>5</sup> Это своего рода моральный и этический выбор руководства компании, который я поясню чуть ниже.

<sup>6</sup> С первыми результатами полевой работы можно ознакомиться в журнале «Социология власти» №4 2016 г. С. Мохов. Рынок ритуальных услуг в современной России: поломка и ремонт инфраструктуры как властный ресурс.

<sup>7</sup> В социологии подобная форма общения с информантами называется иногда «метод неформальной беседы» и довольно многими критикуется.

**Открытость/анонимность**

Во-первых, не во всех ситуациях я раскрываю свою личность и цели своего присутствия. Я не могу открыто говорить, что я исследователь и просить многих потенциальных информантов об интервью. На более ранних этапах полевой работы это стало для меня совершенно очевидным. Если я буду раскрывать свою личность, то я не смогу наблюдать и фиксировать практики вымогательства в моргах, незаконную продажу мест на кладбище и т.д.<sup>8</sup>

Поэтому под каждую конкретную ситуацию у меня имеется своя легенда — я могу быть покупателем надгробия, продавцом ритуальных принадлежностей или родственником умершего человека. Иногда, подобные легенды требуют от меня полу-шпионских и даже, как многим может показаться, не совсем этичных элементов поведения. Я оказываюсь перед выбором — или отказаться от проверки гипотезы или, раскрыв свою личность, лишиться доступа к потенциально насыщенным и полезным эмпирическим данным. Я сделал выбор в пользу поля, объясняя для себя это разновидностью этнометодологического эксперимента<sup>9</sup>.

Нужно понимать, что попасть в морг постороннему лицу совершенно невозможно. Как правило, в моргах не работают холодильники, а если они и есть, то они чаще всего переполнены и тела лежат прямо на полу. Санитары всячески избегают, чтобы это стало достоянием общественности. Стоит стойкий гнилостный запах.

Собственно, многие из тех вещей, что происходят в морге, подлежат не просто строгому административному взысканию, но могут стать и предметом уголовного преследования. Мне приходится действовать порой достаточно нагло и не совсем этично, если мне нужно посмотреть какие-то ситуации и найти подтверждения ранее сказанным словам информантов. Я могу просто пройти в здание морга и в технические помещения, изображая заблудившегося родственника.

Подобная ситуация касается и кладбищ и даже других ритуальных агентств. Каждый раз я придумываю себе легенду, например родственника умершего, и прихожу с ней в те или иные государственные учреждения. Я пробую договориться о подготовке тела к захоронению, о выделении места для погребения, установке ограды и т.д. Все это я делаю для того чтобы зафиксировать возможные модели коммуникации.

В этом контексте я не просто анонимен, но работаю с полевой легендой. Вопросы этики здесь оказываются краеугольными. Согласно требованиям Code of Ethics of the American Anthropological Association — главным принципом полевой работы является «не навреди». Могу ли я навредить санитарам морга, которые оставляют гнить тела людей на полу? Как мне возможно вообще представить людей, вымогающих деньги за выдачу мертвого тела, как некую уязвимую и угнетаемую группу? Конечно, как понимающий антрополог, я должен пытаться услышать их аргументацию и «их голос», который бы объяснял, почему происходит именно так. Услышать истории их жизней, которые привели к подобному отношению к работе и мертвому телу. Но я вынужден признаться, что на данный момент, подобный вещи вызывают у меня серьезные затруднения и непонимание.

Другой вопрос, что своей работой я могу зафиксировать и обратить внимание общественности на подобные механизмы доминирования (Wigawoy 2000). Возможно, привлечением внимания к этой проблеме я и могу потенциально сломать профессиональную карьеру многих санитаров. Но не наносу ли я вред в таком случае потенциальным потре-

бителям, зная о подобных незаконных практиках (Зависка 2005)?

Другим аспектом этического выбора является следующая дилемма. Могу ли я вообще использовать информацию об умершем человеке — фотографию его тела, обстоятельства его смерти? Обладает ли мертвое тело субъектностью? Имею ли я право присутствовать на каких-либо этапах захоронения? Как я должен ставить в известность об этом родственников? Меняется ли моя роль и границы моей ответственности, если я не беру интервью, не фиксирую никаким образом на другие технические носители, а являюсь просто свидетелем действия? Отличаюсь ли я в таком случае от грузчика похоронной бригады?

К сожалению, эти вопросы так же остаются для меня открытыми. Однако я должен признаться, что вопрос этики в отношении родственников умерших меня волнует гораздо больше и сильнее, чем в отношении санитаров моргов. На данный момент, я принял для себя решение, что моя роль не отличается от роли свидетеля, и я могу участвовать в проведении похорон. Поэтому, в некоторых случаях, уже по моей просьбе, я работаю в похоронной бригаде и целиком разделяю все функции, возложенные на меня, как на члена похоронной бригады — транспортировка тела, подготовка и проведение захоронения. В данном случае я веду наблюдение открыто для работников компании — они знают кто я и зачем здесь.

Как я и отмечал выше — многие из технических средств фиксации данных для меня не доступны. Я крайне редко пользуюсь диктофоном и практически не реконструирую диалоги. Предлагать открытую запись под диктофон я не могу по причине описанным выше, а скрыто писать я не считаю этически возможным для себя — подобные интервью я не смогу использовать. В добавление к этому — использование технических средств записи может быть опасно для здоровья и угрожать мне и моей безопасности в случае раскрытия.

Как итог подобного технического ограничения — все мои эмпирические данные, которые я использую в работе, это только этнографически описываемые и фиксируемые ситуации. Каждый день, после очередного дня наблюдения, я фиксирую все, что посчитаю интересным и нужным в полевой дневник. В добавление к этому я веду быструю запись в блокнот, который у меня всегда с собой, и по возможности снимаю на камеру смартфона.

Последний момент, который мне кажется крайне важным — выезжая в поле, я стараюсь максимально не выделяться внешним видом. Дело в том, что мои руки обильно покрывают татуировки, которые довольно сильно бросаются в глаза. Вследствие этого я довольно легко запоминаюсь. Поэтому я использую максимально неприметную одежду с длинными рукавами.



*Во время работы в похоронной бригаде.*

<sup>8</sup> Как отмечает С. Абашин в дискуссии Антропологического форума: «Как быть в тех случаях, когда речь идет об изучении заведомо закрытых тем - преступности, проституции, нелегальной миграции, разного рода замкнутых сообществ, изучать которые с официальным удостоверением невозможно? (Антропологический форум 2005: 119).

<sup>9</sup> Многие из классических антропологических и социологических работ не прошли бы сейчас проверку этической комиссии. Например, работа Уильяма Уайта «Общество на углу улицы» или изучение культуры заводских рабочих М. Буравым методом скрытого наблюдения.

### Этнография похоронного дома как коллаборативная этнография

В какой-то момент, благодаря легкому вхождению в поле, граница исследователь — информант (субъект-объект) стала для меня размываться. Наши разговоры стали все больше содержать неформальных тем, не связанных с рынком ритуальных услуг. Это личные отношения, семья, досуг и даже политика. Ко мне обращались и продолжают обращаться как к некому «московскому образованному человеку», при этом «нормальному пацану», которому «оттуда виднее», что и как происходит. Однажды меня даже попросили написать «у себя там, ну в интернете» об одной бытовой истории, чтобы привлечь к проблеме внимание СМИ.

Подобная потеря границы между субъектом и объектом исследования привела не только к довольно ощутимому расширению границ моей личной эмпатии, но и взаимному влиянию друг на друга.

Во-первых, под воздействием моих рассказов о похоронном рынке Америки и Европы, ребята из похоронной команды стали обращаться к начальству с вопросом, когда у них будут появляться подобные вещи — например, униформа.

Во-вторых, мой информант стал активно спрашивать моего мнения, как консультанта, по тем или иным маркетинговым и бизнес вопросам. Среди ключевых моментов, которые его волнуют — оформление офиса, брендинг, рекламные материалы и т.д. Благодаря моим активным советам был разработан новый каталог компании, а так же пакеты предложений для клиентов.

В какой-то момент, я понял, что мое присутствие довольно сильно отразилось на подходе к бизнесу моего главного информанта. В один из моментов я даже подарил ему попугая и клетку для того, чтобы он разместил его в офисе, так как я посчитал необходимым «разбавить это слишком мрачное пространство». Теперь попугай, названный «Ольгой Ильиничной», не просто живет в офисе, но и по признанию информанта приносит деньги — клиенты очень активно реагируют на попугая в таком необычном для него месте.



Ольга Ильиничина  
в офисе компании.

При этом подобное размывание границ и взаимное влияние между нами возникло не сразу. В начале, я довольно долго боролся с нормативным подходом в видение рынка моего главного информанта. Боролся с влиянием этого подхода, прежде всего, на себя, как исследователя.

Как я и писал выше — мой информант вступает в постоянные конфликты с другими участниками ритуального рынка, не желая принимать сложившиеся правила игры — то есть он отказывается платить взятки, покупать/продавать информацию об умерших людях. Весь рынок и всю ситуацию он, поэтому, видит через призму нормативности и закона. По его мнению, все возникающие проблемы это не доработка закона и преступления в той или иной степени. То есть они не совпадают с его личным видением справедливости.

Изначально у меня не стояло цели описать мир глазами

одного, хотя и крайне не похожего на других, директора ритуального агентства. Все же, я скорее занимаюсь социологией, основанной на этнографическом методе, чем реконструкцией взглядов одного человека. Поэтому, конечно же, я активно сопротивлялся подобной довольно жестко навязываемой мне картине мира. В один из приездов в Москву, после поля, я понял, что всю информацию стал воспринимать в призме «законно — не законно», что конечно не могло меня удовлетворять. Я стал намеренно абстрагироваться от этой темы, всем видом давая ему понять, что мне не интересно говорить про закон или его отсутствие. Между нами часто происходили диалоги подобного образа:

*И: — Ну вот посмотри, что делается. У них катафалк не имеет лицензии. В нем даже нет люминесцентных ламп! Вдобавок они пандус сами сделали. Идиоты!*

*Я: — Ну и что? Сделали и сделали.*

*И: — Как ну и что? Это не по закону! Так нельзя!».*

Однако постоянный диалог между нами, коллективное осуждение результатов моих исследований, сравнение различных моделей похоронного рынка и личные симпатии привели к тому, что мой информант стал обильно использовать в лексике не только мои речевые обороты, но и перенял систему аргументации. Предметом наших бесед все чаще стали становиться вопросы развития рынка похоронных услуг и особенно — сравнение с опытом других стран. Например, для моего информанта стало открытием, что реклама похоронных услуг запрещена во многих странах или что похоронные директора нигде не зарабатывают много денег. Так, например, во время совместного посещения профильной выставки «Некрополь 2016» я услышал такие слова: «Ну что ты за человек, я теперь не могу нормально на все это смотреть. А ведь год назад еще ниче так было».

Но главным итогом первого этапа полевого работы стало то, что моя исследовательская оптика — смотреть на рынок ритуальных услуг через антропологию инфраструктуры — стала доминировать во взглядах самого информанта. В какой-то момент он принял эту позицию как отвечающую реальности и стал реализовывать свою бизнес стратегию через эту призму. Например, теперь он пытается сделать инфраструктуру собственного похоронного дома полностью автономной, чтобы снизить издержки и получить конкурентное преимущество.

В связи с этим для меня особо остро встал вопрос — где заканчивается мое исследование и где заканчивается мое собственное видение? Где границы нашего взаимного влияния? Кто из нас субъект, а кто объект?

В какой-то момент мне стало казаться (и надо признаться, что кажется до сих пор) что моя этнография приобрела вид активной коллаборации. Например, с определенного момента я стал активно давать интервью в СМИ и вести публичные лекции по данной теме. Мой информант оказался не просто активным участником рассказываемых историй, но и их активным творцом — он посещает мероприятия и принимает активное участие в дискуссиях. Я всегда его открыто представляю и не прячу от потенциальных контактов.

Мой информант всегда читает черновики моих текстов, мы обсуждаем практически каждый этап работы вплоть до концептуализации. В целом, я все больше склоняюсь к тому, чтобы называть то, что я делаю в поле — «коллаборативной этнографией» в том понимании, которое в него вложил Ласситер<sup>10</sup>.

У меня вызывает довольно большое удивление, когда полевые исследователи говорят о необходимости отстранения от объекта собственного изучения. Для меня это не совсем понятно — как это вообще возможно, когда ты берешь не одно ин-

<sup>10</sup> «Такой подход к этнографии, в рамках которого особое значение намеренно и эксплицитно придается процессу со-действия на всех этапах этнографической работы - включая и концептуализацию, и полевой этап, и - что особенно важно - этап создания текстов. Коллаборативная этнография привлекает консультантов к созданию их собственных комментариев и пытается сделать эти комментарии частью создаваемого текста. В то же время, этот процесс содействия является полностью интегрированным в методику полевой работы» (Lassiter 2005).

тервью, а проводишь довольно длительную этнографическую работу?

Мне кажется, что такие исследователи смотрят на собственное поле как на уникальную конфигурацию бездушных человеческих объектов, а не как на живых и имеющих свое видение индивидуальностей. Действуя в такой позитивистской логике, исследователь пытается не просто отстраниться и быть объективным, но и лишает свой объект самого важного в антропологии — человеческого голоса.

### Деидеологизация и личная эмпатия

В этом фокусе, нам кажется, что всегда есть некий объект и есть мы, как исследователи. И между нами огромный барьер, как языковой, так и ценностный. Любые проявления сочувствия и даже дружбы нам необходимо подавлять для того, чтобы не терять объективность. На самом деле, подобный взгляд в какой-то мере приближает исследователя к позиции колониального этнографа только вступившего своей белой ногой на горячий песок Тихоокеанского острова. Вместо объективности проявляется властный язык описания и создания дихотомии «мы — другие», в которой «мы» всегда представляем лучший и более правильный мир.

Поэтому моя вышеописанная коллаборация, как никак лучше подходит под понятие «очищение полем» и может стать отличным инструментом деидеологизации описательного языка (Картавцев 2014). Именно на этой проблеме мне бы хотелось остановиться далее.

Подобные противоречия я испытал при первом знакомстве с собственным полем. Это была зима 2016 года, когда я первый раз собрался и поехал на несколько дней поработать в ритуальном бюро. Это были буквально четыре дня, когда я провел с утра до ночи в качестве компаньона похоронного директора. И все эти дни я только открывал рот от удивления, пребывая в каком-то безумном восторге и одновременно в ужасе от увиденного. Это были неработающие морги с разлагающимися телами; катафалки, перевозящие и продукты для кафе и тела одновременно; кладбища, тонувшие в талой воде. И даже пластиковые цветы на могилах и гробы из необработанной древесины у меня вызвали удивление и стойкое отторжение.

«Отторжение» это очень точное слово для описания собственных эмоций от увиденного. Я находился в замешательстве и чувствовал отвращение к тому, с чем мне предстояло работать. Первые вопросы, которые меня одолевали — почему такое вообще возможно? Почему люди так обращаются с мертвыми? Почему **вообще** все так?

Я помню, когда в один из дней, пришли потенциальные клиенты в офис. И первый их вопрос был: «А сколько стоит выкопать **ямой**?». Вначале я даже не понял о чем идет речь и почему за **ямой** пришли именно сюда. Из дальнейшего разговора я понял, что под **ямой** подразумевается место захоронения — могила. Это был один из первых эмоциональных шоков для меня — я не понимал, как место захоронения своего близкого человека можно называть **ямой**.

В другом моменте, я слышал, как диспетчер ритуальной службы говорит об умершем человеке и использует слова «групп», «мертвяк» и т.д. Я не понимал, почему **так** говорят о мертвых людях? Еще в одной ситуации я наблюдал, как работники одной из похоронных компаний, бьют ногами со злости мертвое тело грузного мужчины, обижаясь на него за то, что он страдал избытком собственного веса, а им теперь приходится его грузить и таскать с места на место.

Конечно, эти вопросы самому к себе носили не исследовательский характер, а скорее удивление простого обывателя, только что столкнувшегося с темой. Возвращаясь из поля, я писал небольшие заметки на своей странице в facebook, которые собирали десятки самых разнообразных комментариев. В какой-то момент, я стал понимать, что я пишу об объекте исследования с ненавистью и чувством глубокого непонимания. Записи моего полевого дневника становились похожи все

больше на опубликованные дневники Бронислава Малиновского (Клейн 2014).

Я чувствовал себя колониальным исследователем — молодой мальчик москвич, в лакированных ботинках, открывший перед собой большую Россию, как Папуа Новую Гвинею. Я конечно вопрошал себя — зачем они так делают? Неужели они не видят, что это не красиво, плохо, унижительно, в конце концов?

Я не могу сказать, что сейчас, после полугода активной полевой работы, и я полюбил это поле — полюбил ямы, гниющие тела и пластиковые цветы. Скорее я стал испытывать к этому чувство сострадания — к нищете, низкому уровню политической и правовой культуры. И это, очевидно, тоже не совсем правильно для полевого антрополога. Но, я вынужден признаться, это для меня пока не решенный вопрос и я пытаюсь его решать постоянным самоограничением и рефлексией.

### Публичная антропология или поломанное поле?

Пожалуй, последнее, о чем мне бы хотелось сказать, это о влиянии моего исследования на само поле. О том, как изменился информант под влиянием нашего общения, я уже упоминал. Теперь хотелось бы сказать пару слов о том, что происходит с полем в широком смысле слова, если рассматривать весь региональный ритуальный рынок.

Конечно, новости о некоем московском социологе довольно быстро разнеслись по довольно закрытому и аутентичному сообществу работников похоронной сферы. Усилился эффект после первых публикаций в СМИ. На данный момент в регионе создана экспертная группа, которая должна регулировать ритуальный рынок. Большинство работников рынка ритуальных услуг знают теперь меня в лицо. Санитары моргов стали осторожнее относиться к появлению незнакомцев и даже закрывать двери в здание морга. Раньше этого, например, они не делали.

Главный вопрос, который встает для меня — все ли я сделал правильно как антрополог? Мог ли я брать на себя роль человека, акцентирующего внимание общественности на проблемах ритуального рынка? Так, например, культовая работа Дж. Митфорд не просто обратила внимание на состояние похоронной индустрии США, но привела и к появлению специальной trade commission — Митфорд описала жуткие случаи обращения с мертвыми телами и цинизм работников похоронной сферы.

Если вхождение в поле я более-менее описал выше, то вопрос выхода остается для меня открытым. В самом начале полевой работы, когда я стал пользоваться легендами и, по сути, вести скрытые интервью, я поставил себе одно ограничение — я не буду на себя брать роль судьи и тем более доносчика. Иными словами — да, я фиксирую незаконные практики, но я публично не называю никаких имен, не выступаю свидетелем, не раскрываю никакой информации, которая могла бы привести к обнаружению тех или иных героев сюжетов и описываемых ситуаций кроме случаев, когда это уже имеется в публичном поле.

В этом плане мне близка позиция Мича Даниера, автора книги об уличных книготорговцах, — оберегать конфиденциальность информантов перед полицией и государством (Shea 2000). В публикациях я не называю никаких имен и конкретных локаций кроме указания на общие характеристики поля. В таком случае, кстати, даже следуя формальным этическим правилам, я не могу писать о незаконных практиках, имея на руках, например, письменное разрешение информантов об использовании тех или иных данных — так, как это является компроматом (Зависка 2005).

Несмотря на подобное ограничение, мое длительное присутствие в поле привело к осязательному его изменению. Я должен признаться, что многое из того, что я мог фиксировать раньше, мне стало недоступным. Речь идет о большинстве неформальных практик. Можно сказать, что поле, в какой-то момент за-

крылось для меня. Конечно, неформальные практики не куда не ушли, но под публичным обнаружением моей фигуры они серьезно трансформировались и можно сказать, что ускользнули от меня.

В этом контексте, для меня особо остро встает вопрос связи собственной полевой работы и социальной роли исследователя. Должна ли антропология быть публичной? Должны ли исследователи нести ответственность за то, что они делают? Пока эти вопросы для меня остаются так же открытыми.

#### Вместо заключения

На данный момент, моя работа в поле продолжается. Сейчас я сфокусирован на описании биографических нарративов работников сферы ритуальных услуг, а так же на описании одной большой истории строительства крематория в регионе.

Процесс рефлексии моей работы для меня по-прежнему не закончен, и многие вопросы остаются открытыми. Например, правильно ли я делал, что до окончания поля давал комментарии в СМИ и писал публично некоторые полевые истории? Правильно ли, что я настолько сблизился с информантом? И даже — правильно ли, что я подарил ритуальному агентству попугая?

Хотелось бы, чтобы как можно больше полевых исследователей активно рефлексировали на тему собственного опыта — писали и обсуждали возникающие проблемы и трудности. На данный момент, полевая работа, живая и человеческая, остается черным ящиком для читателей. Мы узнаем только результаты и некоторые формальные техники описания используемых методов.

Остается надеется, что подобные рефлексивные эссе будут появляться в самых разных областях русскоязычного антропологического сообщества и помогут заново открыть дискуссию, обнажив принципиально важный вопрос — как мы делаем наши исследования?

## Использованная литература:

- Антропологический форум. Этические проблемы полевых исследований. 2005 №1: 9 -169 стр.
- Абелев М., Рожков С., Зульфугарзаде Т. (2006) Похоронное дело России. Заместитель главного врача. № 4: 137-140
- Грачев Р.Ю. (2012) Гражданско-правовое регулирование рынка ритуальных услуг: автореф. дис... канд. юрид. наук. Доступно по ссылке: [<http://www.lawtech.ru/document/2012avtoref385>] (дата обращения 26 октября 2016)
- Зависка Д. Этика полевой работы в этнографии. Антропологический форум 2005 №2 169 — 192 стр.
- Моисеева Е.Н. Экономико-социологический анализ рынка ритуальных услуг в России: автореф. дис. ... канд. соц. наук. М., 2013
- Картавец В. Рецензия на Clerke T., Hopwood N., Doing ethnography in teams. A case study of asymmetric in collaborative research. New York: Springer briefs in education, 2014. — 96 p.
- Burawoy M. (ed.). Global Ethnography: Forces, Connections, and Imaginations in a Postmodern World. Berkeley: University of California Press, 2000.
- Lassiter L.E. Collaborative Ethnography and Public Anthropology // Current Anthropology. 2005. Vol. 46. No. 1. P. 83-106. Hammersley M, Atkinson P. Ethnography: principle in practice, Routledge, London, 1983;
- Agar M. Speaking of ethnography, Beverly Hills, CA: Sage. 1986